

Глава I

Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах. И о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей... Поверь мне, мой будущий читатель, то же бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю, — ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму, твое сознание еще находилось в процессе формирования... О да, ты становился самим собой, и ты забывал.

Ты многое позабыл, мой читатель, и все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождаются видения иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому зору. Сегодня они кажутся снами. Но если это сны, снявшиеся тебе тогда, то что породило их, какая реальность? В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком ты падал во сне, читатель, с головокружительной высоты; тебе снилось, что ты летаешь по воздуху, словно для тебя привычно летать; тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног, рожденные в болотном иле; ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые; ты взирал на утрен-

ние и вечерние зори, подобных которым — ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, — ты никогда не видел.

Прекрасно. Эти отрывки детских воспоминаний — они принадлежат к другому миру, к другой жизни, они — часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоём нынешнем мире, в твоей нынешней жизни. Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочтешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик и которые ты, еще прежде, чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам.

* * *

Вордсворт это знал. Он не был ни пророком, ни ясно-видящим, он был самым обыкновенным человеком, как ты или любой другой. То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом — в тех строках, которые начинаются так:

Не в полной наготе и не в забвении полном...

Да, мрак темницы смыкается над нами, едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да, да. И в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы тем не менее уже с момента появления на свет знаем чувство страха, страх живет в наших воспоминаниях, — *а воспоминания возникают из опыта.*

Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда я едва начинал складывать слова, а чувство голода или желание сна выражал еще в нечленораздельных

звуках, — да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не проносил слова «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню: я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо.

Более того. В возрасте трех... четырех... пяти лет я не был самим собой. Я еще только начинался, мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною.

Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве, вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие, долгие годы, в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я», и общался с ними, и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познание, которое ты разделишь со мной как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги.

Итак, как я уже сказал, в возрасте трех, четырех и пяти лет я еще не был самим собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму, в сосуде моего тела, и могучее неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовало на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне, без сомнения, не было и не могло быть известно. И не о том же ли самом говорят мои детские пристрастия, вспышки ярости или приступы хохота? Чужие голоса звучали в моем голосе, голоса живших когда-то встарь мужчин и женщин, голоса теней — моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей, более древних, чем горы, и в детском моем неис-

товом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама.

Ну вот, я и выдал свою тайну. Багровая ярость! Вот что погубило меня в этой, нынешней жизни. Вот по милости чего через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях, ибо багровая ярость — это роковое, гибельное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался.

* * *

Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный и не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррел Стэндинг. Кое-кто из вас, прочтя эти строки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе.

Восемь лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскелл. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я и есть тот Даррел Стэндинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват в этой ссоре, не имеет значения. То было сугубо личное дело. Важно лишь одно: в припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так бы-

ло записано в судебном решении, и я признаю, что на этот раз суд не ошибся.

Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был присужден к пожизненному заключению. Мне было тогда тридцать шесть лет. Теперь мне сорок четыре года. Восемь последних лет я провел в Сен-Квентине — в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет пять лет я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо. Но мне во время этих пяти лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей. Я был заперт в одиночке, меня бдительно охраняли, и тем не менее я не только скитался по свету, но странствовал и во времени. Те, кто замуравал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Моррелу я в течение пяти лет был скитальцем звездных пространств. Но Эд Моррел — это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать.

Начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Отца моего звали Чонси Стэндинг — он был коренным американцем. Его род восходил к Элфриду Стэндингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозреть пенсильванские леса.

Сын Элфрида Стэндинга сражался в рядах революционной армии; внук принимал участие в войне 1812 года. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стэндингов. Я, последний из Стэндингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства, в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах, ради чего в самом расцвете

своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небрасском университете. Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета! Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя-поэта дней, давно канувших в прошлое и даже не занесенных в книгу истории.

И вот я здесь, в Коридоре Убийц государственной тюрьмы Фолсем, и руки мои багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак — мрак, которого они страшатся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся и хнычущих, к алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию.

Да, мне уже никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее, воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удойность коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву — мне достаточно было посмотреть на пейзаж, — и я уже знал все ее достоинства и недостатки. Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы определить щелочность или кислотность почвы. Повторяю: земледелие в самом высоком научном аспекте — вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения, могут отнять мудрость, что накапливалась

во мне тысячелетиями и бережно взращивалась еще в те дни, когда на лугах Трои не начали пастись стада кочевников-скотоводов.

А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистаре, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на полмиллиона долларов!.. Это вошло в историю. Не один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Не одна милая девушка, не один ясноглазый юноша, склонившиеся над университетским учебником, вспоминают, что это я своими опытами в Уистаре сделал доступным для них это обучение.

А методы ведения сельского хозяйства! Я знаю все причины всех потерь — мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно не сомневаться, что в эту самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенно хмурясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую. Однако мне самому уже давно не нужны мои диаграммы, мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда.

А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в Коридоре Убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя — он направляется сюда, чтобы выбрать меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть!

Глава II

Я Даррел Стэндинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах.

После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан «неисправимым». «Неисправимый» — это зверь в человеческом облике; таков он по крайней мере в глазах тюремщиков. Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительной затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице Древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткнут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром.

Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы

заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня.

Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лабораторий и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стэндингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо: зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом! Странно было наблюдать, как наука проституирует всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество.

Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стэндингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство, потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем, и вот так, сидя за письменным столом, я и провоевал всю испано-американскую войну.

Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд «неисправимых». Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя «не-

исправимость» стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе, в свой личный кабинет, чтобы усоветить:

— Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете, но вы не умеете ткать джут, в этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет...

Но стоит ли повторять всю эту тираду — ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак, и он решил, что я неисправим безнадежно.

Назови собаку бешеной... ну, вам известна эта половица. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения. Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных, и я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней.

Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной.

В тюрьме содержался один заключенный — поэт. Это был выродок с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик. И трус. И доносчик. И лягавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии, но даже профессор агрономии легко мо-

жет научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно.

Поэта-фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден, но тем не менее на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности.

События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности. Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства: а) все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопных бегах, а клопные бега были излюбленным развлечением заключенных; б) я был собакой, которую называли бешеной; в) для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки — кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых.

Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда, и, когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали — все знали, что он доносчик. Однако в конце концов он их все-таки одурачил — одурачил сорок самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова. Рассказывал им о влиянии, которым пользуется в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку.

— Докажи, — сказал ему горец Билл Ходж по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту: тем или иным способом вырваться на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде.

Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега.

— Слова дешево стоят, — сказал ему Длинный Билл Ходж. — Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. Дежурит Барнем. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то — уже с дежурства сменился. Сегодня он дежурит ночью. Усыпи его — пускай-ка его выгонят отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле.

Все это Длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. Ему нужно время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки, сказал он. Время ему было дано, и неделю спустя он заявил, что все готово. Сорок умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барнем или не заснет. И Барнем заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве.

Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. А Сесил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией. Надзиратель захотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность. О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя — так медленно открываются тайные тюремные интриги.

Уинвуд заявил, что сорок заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для достав-

ки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей.

— Докажи, — вероятно, потребовал надзиратель.

И поэт-фальшивомонетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных — пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю, и Уинвуду это было известно.

— Сегодня ночью, — сказал Уинвуд надзирателю, — Саммерфейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов сорок четвертого калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны. А сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек. Завтра утром он сам обо всем вам доложит.

Этот Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт. Простодушный, покладистый и недалекий малый, он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой пятнадцать фунтов хорошего курительного табаку. Он проделывал это и раньше и обычно передавал табак Сесилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз: не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержащей ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что Уинвуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю.

И вот тут-то поэт-фальшивомонетчик не сумел обуздать полета своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку, и я угодил в одиночную камеру на пять лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек сорок пожизненно заключенных.

Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Еще меньше подозревал о чем-либо Саммерфейс. В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключенным.

Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сесил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал. И его фантазия сорвалась с узды.

— Да, ты не соврал, он действительно передал пакет, — начал надзиратель.

— И содержимого этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух, — объявил Уинвуд.

— Какого содержимого? — оторопел надзиратель.

— Динамита и детонаторов, — выпалил этот идиот. — Тридцать пять фунтов. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне.

Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть. Шутка ли — тридцать пять фунтов динамита в тюрьме!

Говорят, что капитан Джеми (так его прозвали) упал на стул и схватился руками за голову.

— Где же этот динамит? — закричал он. — Я должен забрать его немедленно. Сейчас же веди меня туда!

И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.

— Я спрятал динамит, — солгал он.

Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными.

— Очень хорошо, — сказал капитан Джеми, беря себя в руки. — Сейчас же отведи меня туда.

Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попрос-

ту не существовало, ни сейчас, ни раньше, — не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда.

В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой.

Как докладывал впоследствии капитан Джеми главному тюремному начальству — и это подтвердил сам Уинвуд, — по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним.

А меня только что выпустили из карцера, где я пробыл пять суток, и из них — восемьдесят часов в смиренной рубашке, — и так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня, в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания! Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать тридцать пять фунтов несуществующего динамита!

Уинвуд привел капитана Джеми к предполагаемому тайнику. Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита.

— Боже мой! — притворно ужаснулся Уинвуд. — Стэндинг провел меня. Он перепрятал пакеты в другое место.

У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «боже мой!». А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду.

Что оставалось делать капитану Джеми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятаны тридцать пять фунтов динамита и сорок отпетых преступников, приго-

воренных к пожизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется, он допросил Саммерфейса, и хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся, что там был динамит, и ему поверили.

В этот момент на сцене появляюсь я, вернее, наоборот — совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить пять долгих лет.

Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки, и я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня снова бросили в карцер.

— Теперь, — сказал Уинвуд капитану Джеми, — хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает. Стэндинг — единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить не сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью, в два часа, они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное, а потом отомкну камеры и раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью, надзиратель, вы не поймаете с поличным, в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех сорока, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда, кроме Стэндинга, и все остальные сорок будут надежно заперты в карцер, у нас времени будет хоть отбавляй, чтобы разыскать этот динамит.

— Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, — храбро заявил капитан Джеми.

Все это было шесть лет назад. За истекшее время им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не

существовавшего динамита, хотя они тысячу тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытаясь его разыскать. Тем не менее до последней минуты своего пребывания на посту начальник тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и сейчас остается там старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее как вчера он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолсема, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят.

Глава III

Весь тот день, в карцере, я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов я пришел к единственному возможному заключению: какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, приписал мне нарушение правил тюремного распорядка.

Тем временем капитан Джеми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи, а Уинвуд сообщил сорока пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа пополудни вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило два часа, они ворвались в камеры сорока пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все сорок человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения, оказались одетыми: ни один не лежал на своей койке, все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фаль-

шивомонетчик опутал капитана Джеми. Сорок заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все как один утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что сорок заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же — не прошло и трех месяцев, как Сесил Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию.

Что ж, тюрьма — хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал несколько лет заключения, обязательно видит, как разлетаются прахом самые дорогие ему иллюзии и лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. Истина бессмертна, учат нас; рано или поздно преступление выйдет наружу. Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство, все до единого человека, и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выродка, фальшивомонетчика и поэта — Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный, самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель.

* * *

А теперь я расскажу вам, как сорок пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал. Стук двери, ведущей в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. Еще какой-то бедняга, подумалось мне. Крепко ему достается, решил я, услышав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брань и шорох волочимых по полу тел:

все сорок заключенных были зверски избиты по дороге в карцер.

Одна за другой отворялись двери карцеров, и кого-то вталкивали, кого-то втаскивали, кого-то швыряли туда. И снова и снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе.

Оглядываясь назад, я вижу, что нужно быть поистине философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение восьми лет я выносил эту пытку, и теперь наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки. Ну, а жертвы, подобно шекспировскому путнику, больше не возвращаются в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так. Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга, — о повешенных, чьи шейные позвонки оставались целы и невредимы.

Странная вещь — повешение. Я никогда не видел, как вешают, но наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз, так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, — руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом, — под моими ногами разверзнется дыра, и я буду падать до тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столбятся врачи и один за другим будут взбираться на табурет и, обхватив руками мое тело, что-

бы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и двадцать минут истечет с того мгновения, как откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить: они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни, после того как ему накинули петлю на шею.

Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования и задать два-три вопроса обществу. Я имею право и отклоняться, и задавать вопросы: ведь в самом непродолжительном времени меня выведут из этой камеры и сделают со мной то, что я только что описал. Так вот: если шейные позвонки жертвы непременно должны сломаться благодаря вышеупомянутому хитроумному расположению узла и петли, а также точному расчету веса жертвы и длины веревки, зачем же тогда спрашивается, заковывают руки жертвы в кандалы? Общество в целом не в состоянии ответить на этот вопрос. Но я знаю, для чего это делается. И это знает каждый палач-любитель, хотя бы раз принимавший участие в линчевании и видевший, как жертва хватается руками за веревку, чтобы ослабить стягивающую горло петлю, которая ее душил.

И еще один вопрос задам я самодовольному, закутанному в благополучие, как в ватку, члену современного общества, душа которого никогда не спускалась в преисподнюю: зачем закрывают они голову и лицо жертвы черным колпаком прежде, чем открыть люк под его ногами? И не забудьте, что в самом непродолжительном времени этот черный колпак будет надет на голову мне. Так что я имею право спрашивать. Или они, эти псы, эти твои верные цепные псы, о самодовольный обыватель, страшатся взглянуть в лицо жертвы, в котором, как в зеркале, отразится весь ужас того преступления, которое они совершают над нами для вас и по вашему приказу?!

Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в год тысяча двухсотый от Рождества Христова, и не в год рождения Христа, и не в год тысяча двухсотый до Рождества Христова. Я, которого повесят в этом году, в году тысяча девятьсот тринадцатом от Рождества Христова, задаю эти вопросы вам, тем, кто, как принято думать, является последователем Христа, вам, чьи цепные псы, чьи гнусные прислужники-вешатели выведут меня из моей камеры и спрячут мое лицо под куском черной материи, ибо они не осмеливаются взглянуть на страшное злодеяние, которое они совершат надо мной, пока я еще буду жив.

Но вернемся к тому, что происходило у нас в карцерах. Когда последний надзиратель удалился и дверь коридора захлопнулась за ним, все сорок избитых, растерявшихся людей начали переговариваться и задавать друг другу вопросы. Но тут один из пожизненно заключенных великан-матрос по прозвищу Брамсель Джек, заревел, словно бык, требуя тишины, чтобы можно было произвести перекличку. Все карцеры были заполнены, и вот из каждого карцера по очереди стало доноситься, сколько в нем заперто человек и как их зовут. Таким образом было установлено, что в карцерах находятся только проверенные люди и можно не опасаться, что нас подслушивает доносчик.

Только я, единственный из всех, вызывал у заключенных подозрение, потому что только я не принимал участия в подготовке к побегу. И я был подвергнут самому придиричивому допросу. А что я мог им сообщить? Сегодня утром, едва с меня сняли смирительную рубашку и вывели из карцера, как тут же, без малейшего, насколько я мог понять, повода, меня снова швырнули в карцер. Но моя репутация «неисправимого» сослужила мне на сей раз хорошую службу, и скоро они заговорили о деле.

Я лежал и слушал и лишь тут впервые узнал о том, что готовился побег.

«Кто же донес?» Этот единственный вопрос был у всех на устах, и всю ночь до рассвета он повторялся снова и снова. Сесила Уинвуда среди брошенных в карцеры не оказалось, и подозрение пало на него.

— Остается только одно, ребята, — сказал в конце концов Брамсель Джек. — Скоро утро, и, значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали, что называется, с поличным: ночью, в одежде. Уинвуд обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех, одного за другим, и превратят в котлеты. Нас сорок человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду, и ничего, кроме правды, как под присягой.

И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, четыре десятка пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей, один за другим торжественно поклялись говорить только правду.

Однако их правдивость принесла им мало пользы. В девять часов утра наши тюремщики — эти наемные убийцы на службе у самодовольных обывателей, олицетворяющих государство, — сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды. А избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? «Обработали» — так называется это на нашем языке. Впрочем, нет, я не стану рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди семь часов оставались без воды.

В девять часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много. Да много и не требовалось — ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотыг. Это очень удобное орудие

для «дисциплинирования» незащитного человека. Двери карцеров отворялись одна за другой, и — карцер за карцером — осужденных на пожизненное заключение людей избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие: меня избили, как и всех остальных. И это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу, которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных палачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе.

Я прошел через все муки тюремной жизни, через нечеловеческие муки, но страшнее всего, куда страшнее даже того, что готовят мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни.

Первым на допрос взяли Длинного Билла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через два часа — вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Поладзо, сан-францисского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны.

Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное.

— Что это еще за динамит? — спросил он наконец. — Кто знает что-нибудь о динамите?

И разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом.

Луиджи Поладзо вернулся даже раньше чем через два часа, но это было уже лишь какое-то подобие человека: он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос, а вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре, ибо остальным еще пред-

стояло пройти через то, что он испытал, и всем хотелось узнать, что́ с ним делали и о чем спрашивали.

Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос, когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У Луиджи на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая, чистая кровь: он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных, после того как я повисну в петле и навсегда избегну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии.

Одного за другим — и всякий раз по одному — заключенных уводили из камер, и один за другим, воя и стеноя во мраке, обратно возвращались сломленные и телом и духом люди. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, и смутные воспоминания рождались в моей душе: мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я, римский военачальник, слушал их, сидя на корме одной из галер Древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим... Но об этом я расскажу позднее. А пока...

Глава IV

А пока я был во власти ужаса, наблюдая то, что творилось в карцерах, после того как был обнаружен готовившийся побег. Ни на секунду за все эти бесконечные часы ожидания, ни на секунду не покидала меня мысль о том, что рано или поздно настанет и мой черед отпра-

Лондон Дж.

Л 76 Странник по звездам, или Смирительная рубашка : роман / Джек Лондон ; пер. с англ. Т. Озерской. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-07366-1

Даррел Стэндинг, бывший профессор агрономии в Калифорнийском университете, приговорен к пожизненному заключению за совершенное им в припадке ярости убийство коллеги. Он провел восемь лет в тюрьме Сан-Квентин, подвергаясь за свою строптивость жестокому наказанию — затягиванию в брезентовую «смирительную рубашку» (ставшую вторым названием романа). Однако именно в этом мучительном состоянии он обрел поразительную способность «умерщвлять» собственное тело и раскрепощать подсознание, научился властвовать над временем и пространством и путешествовать по иным мирам и эпохам, заново проживая свои прошлые жизни. И теперь, находясь в тюрьме Фолсем, где он ожидает казни за нападение на охранника, Стэндинг рассказывает захватывающую историю своих реинкарнаций, утверждая идею бессмертия человеческого духа.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ДЖЕК ЛОНДОН
СТРАННИК ПО ЗВЕЗДАМ,
ИЛИ СМИРИТЕЛЬНАЯ РУБАШКА

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Габовой
Корректоры Елена Шнитникова, Елена Терскова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 10.12.2018.
Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 15,5.
Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1.

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



A-AKB-15370-88-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В МОСКВЕ

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,
факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;
info@azbooka-m.ru

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,
факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В КИЕВЕ

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru
www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества
размещена по адресу:
www.azbooka.ru/new_authors/